

**ЗИНАИДА
ГИППИУС**

ИВАН
ИВАНОВИЧ И
ЧЕРТ

Зинаида Николаевна Гиппиус

Иван Иванович и черт

Аннотация

«— Ах, да это опять вы. Вы, что ли? — сказал Иван Иванович, вдруг уловив в чертах незнакомого человека, пришедшего к нему «по делу», знакомую с детства тень лица. Именно тень, а не лицо; или, если это и было лицо, то главное его, отличительное его свойство, по которому Иваном Ивановичем оно узнавалось, — была странная безличность этого лица. Безликость, ни в ком больше не встречающаяся...»

Зинаида Гиппиус

Иван Иванович и черт

Диалог I

«... Чаша в руке Господа, вино кипит в ней, полное смешения. Даже дрожжи ее будут выжимать и пить все нечестивые земли»

Пс. 74, 9.

I

– Ах, да это опять вы. Вы, что ли? – сказал Иван Иванович, вдруг уловив в чертах незнакомого человека, пришедшего к нему «по делу», знакомую с детства тень лица. Именно тень, а не лицо; или, если это и было лицо, то главное его, отличительное его свойство, по которому Иваном Ивановичем оно узнавалось, – была странная безличность этого лица. Безличность, ни в ком больше не встречающаяся.

– Так вы, значить? – переспросил Иван Иванович.

Посетитель съезжился, улыбнулся одобрительно и кивнул головой.

– Ну, конечно, я. А что, вы сердитесь?

– Да нет, что ж... А только, знаете, теперь... Я устал, измучился, голова идет кругом...

– Вы не бойтесь. Я вас не утомлю. Я понимаю. И о разных текущих делах и событиях не собираюсь с вами говорить. Вон какой у вас ворох газет лежит, достаточно с вас. Философствовать тоже не будем – разве я не понимаю, что это не ко времени. Тут вы потрясены реальностями истории, а я полезу к человеку с отвлеченностями. Нет, я просто так... Жалко мне вас стало, да и не был давно... Пойду, думаю, к нему с отдохновением, сказочку, что ли, расскажу, поболтаем...

Иван Иванович посмотреть на него зло.

– Да чего, в сущности, вы ко мне привязались?

– Видите, как у вас нервы расстроены, – сказал посетитель мягко. Раздражаетесь. Два года я у вас не был, а говорите – привязываюсь. Разговор-то наш последний уж помните ли? Я вам тогда все с откровенностью выяснил, мы, кажется, поняли друг друга.

Иван Иванович поморщился.

– Ну, поняли... Поймешь вас. После все думается – вздор какой-то, марево; начало сумасшествия... Это все противно.

Посетитель тяжело вздохнул.

– Очень я виноват, что так долго не был у вас. Это немножко скучно, что опять все сначала начинать приходится. Какое же сумасшествие, когда – ведь уж докладывал же я – не к вам одному, а ко всем здравомыслящим людям всех

сословий я хожу совершенно так же, как к вам, накинув на себя, для удобного проникновения, подходящую одежду. И присяжных поверенных, как вы, у меня много, и у власти людей стоящих, два учителя народных, писатели есть, профессора, доктора, студентов куча... Людей ведь, как вы знаете, гораздо больше, чем нас. Ну и приходится брать каждому из нас по несколько. Устаешь, конечно, но дело веселит, ежели подбор по вкусу. Я всегда, с самого начала нашей общей деятельности, держался людей именно самых здравомыслящих, покойных, трезвых, – что у вас называется нормальных. По чистой склонности держался. С таким человеком и поговорить приятно. К тому же они, по моему глубокому убеждению, и есть соль земли. Я, как родится такой человек, сейчас же его в свои кадры намечаю. И уж с детства и знакомство завожу. Помните, как я к вам еще с третьего класса гимназии то тем, то другим товарищем приходил. Постепенно и узнавать меня начали. Многие, как и вы, бунтуются. Вы, говорят, против здравого смысла. А потом ничего. Ихний же здравый смысл подсказывает, что я не против него, а за него.

– Однако, – в задумчивости сказал Иван Иванович, – согласитесь, что это должно иногда тревожить. Ведь факт ваших хождений и к другим – не проверен. Я о нем слышу только от вас.

– Не принято это, в корне не принято у людей – говорить о нас между собой. Дети даже, и те сразу чувствуют, что нельзя. Каждый знает, а попробуйте заговорите с ним! Притво-

рится так хорошо, что и вы поколеблетесь. Впрочем, и не заговорите вы никогда. Уверяю вас, не принято. До дна души люди откровенны могут быть только с нами, а не между собой. Мы с ними откровенны, ну, они это и чувствуют и могут. Это наша ценность.

Иван Иванович угрюмо замолк. Посетитель продолжал с веселостью:

– Право, подумайте: не верить мне ведь вы не имеете никаких оснований. Для вашего успокоения я очень бы желал, чтобы тот факт, что я хожу не к одному вам, а и ко многим людям вашей же профессии (ко всем ходят, не я, так другой) – чтобы этот факт мог быть доказан. Но не принято! Невозможно! Не будете же вы отрицать, что невозможно человеку открыть свою душу другому до самых последних тайников? Даже и хочешь – так невозможно! Ну а мы – как раз в этом последнем тайничке всегда и ютимся.

– И с каждым вы, значит, вот так – один на один? – спросил Иван Иванович.

– Непременно. То есть, если по душе разговор, без намеков. Общества я отнюдь не избегаю, впрочем. Но это уж другое. В семейные дома я хожу с лицом какого-нибудь знакомого. Выйдем чай пить, жена не удивляется. Хозяин знает, что я – я, а кому не следует – тот не знает. Главное – чтоб сверхъестественностей никаких не было. Это совсем не в нашей натуре. Мы за простоту и ясность.

– Однако же может выйти qui pro quo... Вдруг этот самый

знакомый, в чьем вы лице приходите, сам туда же пожалует?

– Я рад, что вы развеселились, – сказал посетитель, скромно усмехнувшись. – Нет, не пожалует. Мы, знаете... так уж устраиваемся. Привычка, навык – и мало ли еще средств? А навыку всяческому – как же не быть? Практика громадная. Ведь мы, извините, вечные, а вы – временные. Ведь с начала хотя бы моей деятельности – сколько веков прошло. Сколько у меня одного людей было и окончилось. Кабы не запись – и не упомнить. А в записи у меня много и исторических имен. Из периода французской революции, например... Да я вам покажу как-нибудь, сами увидите, в какой вы компании. И все самые прекрасные, нормальные, самые здравомыслящие люди. Что делать. Влечение сердца. Я не гонюсь за выскочками. Мишурный блеск меня не прельщает. Побольше бы таких, как вы, – и дело наше в шляпе.

Ивану Ивановичу почудилось что-то обидное в последних словах развеселившегося посетителя. Иван Иванович сам, в глубине души, был собою скорее доволен, то есть очень во многом себя одобрял, когда смотрел со стороны. Многое ему даже прямо нравилось. Случалось, приходила и мысль, что побольше бы таких, как он, – и гораздо было бы в мире лучше. А между тем его что-то кольнуло в тоне собеседника, захотелось с ним спорить, противоречить ему, – не в этом – так в другом, подсесть его. Словом, Иван Иванович обиделся и раздражился. Но прежде чем он успел открыть рот, посетитель, уже другим, скромно-серьезным тоном, поспешил при-

бавить:

– Общение с подобными вам людьми – для меня просто необходимость. И я истинно, поверьте, истинно счастлив, когда могу такого человека поддержать, помочь ему...

– Да позвольте! – вдруг вспыхнул Иван Иванович и даже с места вскочил. В волнении он зашагал по своему скромному кабинету. Кабинет был скромен, потому что Иван Иванович никогда не имел большой практики, да и не гонялся за ней. Он был человек с глубоко честными убеждениями, такими честными, что их многие даже называли крайними. В общественной жизни он принимал деятельное участие, его знали и ценили за бескорыстие, смелость и некоторую даже горячность. Вообще было мнение, что на него «можно положиться». Ивану Ивановичу шел двадцать девятый год, наружность у него была приятная, он казался моложавым и все еще смахивал на студента. Это последнее обстоятельство ему в себе тоже нравилось. И невеста у него была – курсистка. Давно уже была, но оба они, занятые своим участием в делах общественных, не торопились со свадьбой.

К посещениям безликого гостя Иван Иванович как-то безотчетно привык. То есть мало о них думал, забывал совершенно, особенно когда странный приятель долго не показывался. Но каждый раз, при встрече, они спорили, и нет-нет, да и почудится Ивану Ивановичу, что тут что-то дикое, нелепое, непонятное, а потому и противное.

На этот раз беседа принимала особенно резкий характер:

Иван Иванович был уже взволнован, потрясен реальнейшими событиями времени, да и гостя он слишком основательно забыл. Как-то тут не до него. Не до этих выкрутасов.

– Нет, позвольте! – волновался Иван Иванович. – Что вы путаете! Ведь вы мне колоссальную чепуху порете, с начала до конца. Что я вам дался! Противоречие на противоречие нагромождаете. И если хотите знать – ровно я ничего не понимаю! Какое такое «ваше дело» – в шляпе? За каким делом вы ко мне таскаетесь? Это первое. Хвалитесь откровенностью и ясностью – объяснитесь, раз и навсегда. Затем: только что сказали, что избегаете «сверхъестественного» и стоите за здравый смысл – и тут же вплели, что вы – бессмертный какой-то и гуляли еще во дни французской революции. Есть в этом хоть капля здравого смысла? И, наконец – нечего нам церемониться! – ведь явно вы к тому гнете, так себя ставите, чтоб я мог вас назвать... ну просто язык на эту глупость не поворачивается – чертом? Этого вы хотите? Еще ужимается, туда же! Чертом?!

Иван Иванович разъяренно наступал на гостя, который оставался, маленький и спокойный, тихо на своем кресле. Только улыбнулся. И так кротко и нежно, что Иван Иванович устыдился.

– Вы извините, если я невежлив, – сказал он, понизив тон. Теперь все раздражены. Но, конечно, по существу я от моей оппозиции отказаться не могу... И весьма просил бы вас...

Посетитель с ласковой нежностью тронул его за рукав.

– Это вы меня извините... Это я виноват. И, насколько в моих силах, я сейчас же вам все разъясню. С конца начнем. Вас слово смутило? Слово «черт»? Не так ли?

– Ну да... Согласитесь сами...

– Да ведь все слова ваши же условные знаки для изображения понятий, – вот и все. Если у вас является слово – значит, наверно, есть понятие, существует, как бесспорный факт. Пользуются для определения факта словом, которое наиболее удобно и просто. Именуют факт. Если ваше понятие обо мне может быть определено словом «черт», – прекрасно, называйте меня чертом. Точнее: если понятие, которое существует у вас под словом «черт», приложимо ко мне, то, несомненно, я – черт. Более скажу: я сам, во многих пунктах, разделяю и ваш взгляд, и ваше определение, и уместность данного слова. Но, конечно, мы очень расходимся в деталях.

– Значит, – проговорил Иван Иванович, криво усмехась, – вы предлагаете признать, что черт существует.

– Как факт, дорогой мой, как факт. Из области фактов мы не выходим. Понятие – факт, слово – другой; я сам, с вами говорящий, – третий. Не так ли? И даже – возьмем самое последнее предположение, маловероятность которого и вами уже признана – даже если я сам не что иное, как продукт вашего болезненного воображения – и это не отрицает факта моего реального существования где-то, ну хотя бы в этом же болезненном воображении, которое, оно-то, в таком случае

уже непременно факт, реальность. Значит, и тут я – существую в реальности.

– Фу, какая софистическая схоластика! По истине чертовская! – сказал Иван Иванович и рассмеялся.

Черт тоже засмеялся.

– А я же вам предлагал попросту, без углублений. Черт, так черт, удобно и ясно. Насчет деталей можно поговорить. Но, право, лучше в другой раз. Я пришел просто развлечь вас, сказочку невинную вам рассказать...

– Благодарю вас. Однако я все-таки, теперь же, хотел бы ответа и на другие мои вопросы. Допустим, вы – черт. Но что вам от меня нужно? Приняв, что бы черт, должен я принять, что вы ходите к людям, чтобы куда-то «соблазнять» их, так?

– Ах, ах, как примитивно, как не разработано ваше понятие о черте. Я бы выразился сильнее, но вежливость – первое наше качество. Соблазнять! Пожалуй, вы о грехах вспомните! Это, извините, уже клерикализм. Нет, бросим отжившие понятия. Я буду прям и откровенен. И очень краток. Видите ли: мой постоянный, так сказать, извечный спор с...

Иван Иванович перебил:

– То говорите «мы», то «я». Вы во множественном числе или в единственном?

– Это, право, не имеет существенного значения. Как хотите. Как вам удобнее. Пишутся же единоподержавные манифесты: «Мы, такой-то...» Кажущееся противоречие. Не будем на этом останавливаться. Итак: вечный наш спор с Богом...

Иван Иванович не выдержал и опять перебил:

– Нет, позвольте. Только что упрекали меня в клерикализме, а теперь сами спокойно говорите: Бог... На каких основаниях вы убеждены, что я верю в Бога? Тут, в лучшем случае, вопрос: Бог-то, существует ли еще?

Черт вздохнул.

– Видите, для удобства разговора это приходится тоже принять, не углубляясь. Иначе опять назад пойдем. Опять – существую ли я? Существует ли понятие? И так далее. Да что вам? Примите, как слово, как меня. Все ведь относительно.

– Ну, хорошо, ладно, продолжайте. Не буду больше перебивать.

– Спор наш с Богом, – продолжал черт, усаживаясь удобнее, – один, из веков в века все тот же. Бог утверждает, что человек создан по Его образу и подобию, а я – что по моему. Вот и стараемся мы оба каждый свое положение доказать. Для этого я стараюсь поставить человека в условия, самые удобные для проявления его сущности, которая, по моему мнению, тождественна с моей, – создаю, по мере сил, атмосферу, наиболее благоприятную, в этом смысле, для человека. Бог же склонен ставить людей в положения, способствующие проявлению сущности божественной (если таковая в человеке и есть его первая сущность). По правде сказать – это я спорю с Богом, а Он не спорит; Он как-то слишком уверен в том, что утверждает; и думает (совершенно логично), что настоящая сущность, раз она настоящая, должна

проявляться одинаково во всех обстоятельствах, атмосферах и положениях. Так что выходит, с Его точки зрения, что я не Ему мешаю, а только людям, которые иногда, отвлеченные моими устройствами, не успевают проявить своей собственной природы, а проявляют как бы чуждую, извне навязанную, мою. Заперев себя в круге этого соображения, конечно, можно оставаться неуязвимым ни для каких фактических доказательств; но для меня логика и справедливость – все; они восторжествуют, сомнений тут нет; и фактики, реальности, я собираю в кучку, терпеливо, добросовестно, как курочка по зернышку. Каждый фактик – камешек моего будущего дворца. Мешаю людям! Да ведь это с какой точки зрения. С моей – помогаю всеми силами, не жалея себя. Людям – и торжеству правды. Пригодятся фактики, не беспокойтесь. Они, фактики, правду-то и созидают. Против фактиков, в конце всех концов, не пойдешь. Подумайте: один не успел понять и проявить свой образ Божий и подобие, другой не успел, тысяча не успели, миллиарды не успели, все мое подобие проявили; всем я, значит, помешал? Ну, знаете, тут скромность моя, не смею такой силы себе приписывать. Это уж пусть будет заслуга самих людей, что они, с моей помощью, по правде жили и себе, своей настоящей природе, остались верны. Пусть уж лучше так будет. Я бескорыстен, мне только правда нужна, и чтобы люди жили по правде. К тому же, так живя, они наиболее счастливы. Между прочим, значит, я стремлюсь и сделать людей счастливыми.

– Гм... – задумчиво проворчал Иван Иванович. – К правде, к правде... Ужас, сколько наболтали. Но, во-первых, еще не известно, что для вас правда, а во-вторых – мне почему-то кажется – ощущение такое странное – что все время вы врете. С первого слова до последнего – все вранье.

Черт хитро усмехнулся.

– А не действует у вас тут какая-нибудь старая ассоциация? Черт – значит ложь. С чертом – нетрудно: бери все наоборот – и будет правда. Я вам не говорил, что, ратуя за конечное торжество правды, я обязан никогда, ни разу не сказать неправды, даже если в интересах той же истины солгать, преувеличить, не допустить неточность; ведь и все слова лишь более или менее точны. Но понятие о черте, как непрременной, везде и всегда, лжи – прежде всего неумно. Что, мол, с чертом и считаться? Сказал – значит не то. Ей-Богу, даже если глядеть на черта по-старому, как на «соблазнителя», и то неумно: соблазн в том, что черт и лжет – и правду говорит. Твое дело разобрать, пошевелить мозгами. Никакого черта никто дураком круглым не считал. Нет, уверяю вас, мы умны – и вы умны. Это тоже одно из глубоких сходств.

– Да... – произнес невольно польщенный Иван Иванович. – Однако вы не отрицаете, что иногда лжете?

Черт пожал плечами.

– Как вы... Все относительно... Отличить правду от лжи мыслящему человеку не трудно.

Бросим эти рассуждения, право. Скептицизм утомляет, и без всякой пользы. Я знаю, у вас еще много вопросов, вам хотелось бы проследить, что именно в вас меня привлекает, какое влияние на вашу жизнь имело знакомство со мною, – вам кажется никакого, не правда ли? Но я устал, вы устали... Я – повторяю – в этот раз пришел к вам с единственной целью – развлечь пустой сказочкой, освежить ваши силы.

– Ну, знаете, это еще вопрос, имеет ли порядочный человек право развлекаться пустыми сказками в такое время? Не до сказок... Жизнь кипит, идет вперед. Надо действовать, а не развлекаться.

– Почему же вы не действовали, а сидели у себя в кабинете, когда я пришел?

– Я... я устал, – раздраженно произнес Иван Иванович. – Только что вернулся из союза, кричали-кричали... А вечером у меня партийное заседание. Партия, признаться, начинает слишком крайничать... Я даже сомневался, идти ли мне сегодня, особенно в таком раздраженном состоянии... Да чего я вам об этом рассказываю? Очень нужно!

– Очень, очень нужно, – серьезно проговорил черт. – Я уже чувствовал, что вы запутались, оттого и пришел. Вы ведь на переломе вашей жизни в некотором роде. Все теперь переламывается, мчится с головокружительной быстротой. И вперед, это несомненно. История – нечто неповторяющееся, смею вас уверить. Навык, конечно, помогает, но смекалка нам нужна и приспособление. Вот я вам давеча про фран-

цузскую революцию упомянул. Тоже было время, однако теперь уж приходится вырабатывать совершенно новые методы. Партийки теперь, эти... туда взглянуть и сюда! Совсем другой коленкор. И чувствуешь, конечно, что тут не без твоей капли меда... перемены-то эти счастливые. Человек, знаете, – прекрасно, не спорю... Ну один, другой, третий... все-таки единицы. А возьмите вы человечество! Ведь как звучит-то! Человечество идет! Все со всеми! Это уж не тот разговор! Да позвольте, – спохватился вдруг черт, – я не о том, я совсем о другом хотел спросить вас. Вот вы устали, сомневаетесь, нервы у вас напряжены... Идти, куда хотели, не хочется... Ну, а Олечка что? Тоже устала или нет?

– Какая Олечка? – вспыхнул Иван Иванович. – Она вам не Олечка...

– Извините, ради Бога. Я про Ольгу Ивановну. Про невесту вашу.

– Ольга Ивановна... да вы знаете, наверно, – так к чему выпытывать?

Черт заторопился.

– Нет, нет, не знаю, но, конечно, предполагать все возможно...

– Ольга Ивановна – сильный человек, – сказал Иван Иванович как-то кисло. – Я уважаю ее прямолинейность, ее огонь. Не говорю, чтобы у меня не было огня, но я, как мужчина, более склонен иногда слушать доводы трезвого разума... И, может быть, колебаться перед каким-нибудь край-

ним шагом... Да вы не вообразите, что я боюсь чего-нибудь... Или, что убеждения Ольги Ивановны считаю неразумными... Нет, очень, очень разумными. Теория, заслуживающая внимания, должна основываться сплошь на разуме. Разногласия могут родиться лишь в способах применения ее на практике... И то или другое данное лицо, в известный момент истории, может спросить себя... Ну, я запутался. Смешно так говорить. Вы отлично все понимаете.

– Понимаю, понимаю, – скромно подтвердил гость. – И благородное томление ваше понимаю. Не быть в настоящее время общественным борцом, не внести вашу силу в этот бушующий поток жизни – вы не в силах. Для вас это было бы нечестностью и самоубийством. Соединиться же для этой борьбы вы можете только с той фракцией людей, конечные идеалы которых... pardon, максимум программы которых совпадает с вашим, научно обоснован и потому наиболее реализуем... Вы чувствуете, что сила – у них, будущее за ними, и желанное для вас будущее... А между тем что-то мешает вам вступить в их ряды, сплотиться, слиться, двинуться с ними вместе, тело около тела, – вперед... Знаете, что вы давеча наклеветали на себя, что вас «практика» смущает... Что тут практика! Не такой вы человек; вы – настоящий, совсем по времени. Кое-что только, может, застряло в вас... Оно неопределимо, вам самому не видно... Да это пройдет. Все будет хорошо. Вот и невеста ваша – ведь ценит вас? Ценит? – а она уже все препобедила. Мало ли какие старые ма-

рева есть. Когда у человека крылья вырастут, у первого, он, несмотря на всю очевидность права своего полета, все-таки будет ощущать нечто вроде страха и колебания прежде, чем – в первый-то раз! – броситься вниз, с крыши, и «в просторе синем утонуть».

Неприменно в конце концов бросится и «утонет», а момент этот непременно перейдет: как же, мол, так: все был я, был, – а тут вдруг броситься и «утонуть в просторе»? Да ничего, это самый крошечный моментик, полмоментика, – а там все хорошо будет. Его и замечать и обсуждать не нужно. Толчок – и готово.

– Ну, я не понимаю этих ваших метафор, – уныло сказал Иван Иванович. – Все гораздо проще. Вы верно сказали, что я горю необходимостью действовать. Это мой долг. И я могу отдаться деятельности только безвозвратно, телом и душой. Я прекрасно сознаю, что деятельность возможна лишь партийная. Партия, перед которой я стою, которая по существу уже моя, она, однако...

– О, голубчик! – взмолился гость. – Не утруждайте себя, бросим! Я слишком верю в вас и в правду, которая должна восторжествовать, мне просто стыдно говорить об этом, советовать вам что-нибудь. Так или иначе решите вы сомнения – но вы их решите, и непременно сам, без тени какого-нибудь постороннего совета. И решение ваше – будет истиной. В этом я уверен. Об одном прошу. Дайте мне успокоить вас тихой сказочкой – без всякой тенденции, просто

поэтической сказочкой. Мы ведь все – как и вы – немножко поэты. Поэзия успокаивает нервы. А вам теперь необходимо успокоить нервы.

Иван Иванович беспомощно взглянул на часы, шевельнулся в кресле, но не встал, полужакрыл глаза.

– Да рассказывайте вашу сказочку, надоели! Мне все равно. Лучше бы не длинно. Ослабел я как-то тут с вами, черт знает что!

– Да, да, знаю, – нет, нет, не ослабели, – живо подхватил черт, который, казалось, только этого и ждал. Он быстрым движением не то кошки, не то ребенка – как-то особенно мило уместился на своем кресле против Ивана Ивановича (их разделял письменный стол). Ивану Ивановичу показалось, что черт даже слегка прикрыл глаза. Уверенности, однако, быть не могло, так как, если Иван Иванович приглядывался – ему начинало казаться, что у гостя вовсе никаких глаз определенных не было. Да и лица не было. Не смотреть на него – тогда оно виднее. Так слабые звезды видны, если не смотришь на них прямо, а мимо, рядом. Боком глаза как будто и видны.

– Я не очень длинно стану рассказывать, – сказал черт, и голос у него вдруг стал другим, серьезнее, глубже, – задумчивый, нежный и простой. – У меня даже две сказочки, но обе коротенькие. Не знаю, сказочки ли. Сны такие у меня были. Мы ведь часто видим сны, и самые простенькие. Эти два – один за другим мне снились – я их и считаю за

один. А вам рассказываю потому, что они – немножко о вас, и такие мечтательные, такие нежные, приятные... И тихие... Может быть, и не сны, может быть, так это мне мечталось... Вот послушайте. Вы слушаете? Солнце я видел. У нас ноябрь на дворе, слякоть, мзглять да темнота коричневая, а я вижу, будто, солнце. Яркое такое, бело-желтое, горячее стоит посреди неба. И страна не наша – теплая, зеленая и голубая, и пора не наша – весна. И час не наш – утренний. Песок морской, камни, йодом пахнет там, где волна шевелится и раскачивает длинные ржавые водоросли. А море все, до самого конца, куда только глаз видит, легкое-прелегкое, только огоньки от солнца по голубому бегают, загораются и гаснут. У самого берега, у воды, мягко на песке и тихо-тихо: уютное такое местечко, сзади скала высокая, сверху свисают темные, кудрявые деревья. И вот вижу я – на песке, у самой теплой воды, где водоросли качаются, сидят двое. Человек будто вы, а с ним барышня. Девочка такая хорошенькая, тоненькая-претоненькая и совсем молоденькая. Не знаю уж, сколько ей лет, а на вид – должно быть, пятнадцать. И простое-простое у нее лицо, светлое, в глазах тоже огоньки солнечные отражаются. И у него – то есть у вас – лицо светлое и молодое. Вы будто девочку эту, и море белое, чужое и прекрасное, и самого себя, светлого, – любите. И ни Ольга Ивановна (ведь это сон!), и никакая другая женщина вам не нужна, а только будто эта единственная на все времена, как сам будто вы для себя единственный на все времена, как

солнце, единственное солнце до конца времен. И не оттого любите вы ее, что такая она хорошенькая и юная, а все вокруг вас так пышно, вольно, ярко и прекрасно, – а оттого и прекрасно, оттого она и хорошенькая, оттого у вас и лицо светится, что вы ее любите. И кажется вам, что вы для себя весь секрет открыли. Есмь и я, есть и она, есть и мир, широкий, счастливый, солнечный. Так просто. Девочка говорит:

– А я еще кого-то поверх тебя люблю, оттого и тебя люблю, оттого и солнце светит.

И смотрит поверх, туда, где море до небес поднялось, точно увидеть хочет идущего по волнам, того, кого любит сначала любви. В солнечном дыме все дрожит, не видно, и вы тоже смотрите, и вам тоже кажется, что вы любите кого-то больше, прежде, чем девочку светлую, песок и солнечный огонь, и что так хорошо, а больше ровно ничего не нужно, потому что все целиком уже вам отдано. Весна пышная, край, может быть, чужой – да он и свой: ведь все вам целиком стало свое, во всю ширину ваше, навсегда.

Девочка говорит...

Рассказчик остановился на мгновение, задумался. Потом продолжал, вздохнув:

– Но здесь точно поплыло у меня в глазах все и уплыло, и уж ни моря не вижу, ни темных деревьев на скале, а солнце – не побледнело – только тише стало, нежнее, ласковее. Серебряное стало, не золотое. Будто не весна – а к осени уж дело, лето еще – а так, клонит уже оно немножко. Лес будто

березовый, наш, русский, белый лес, и славные березы, частые, стройные. А в лесу просека, широкая, зеленой, высокой травой заросшая, в траве лиловые колокольцы кое-где да крупная такая ромашка: знаете – предосенняя, с большой желтой сердцевинкой. А просека такая широкая, длинная да прямая, что назад ли взглянешь, вперед ли – только и видно, как она уходит меж зеленых стен, а над ними небо даже острое, острым голубым куском понижается. Грибками уж пахнет, листочком прелым и предзакатной этакой травяной сыростью, сучками, корой да болотцем... В середину просеки другая впивается, такая же широкая, а в ее конец уж нельзя смотреть, потому что там стоит, низко, солнце, и так и стелятся по траве длинные-длинные лучи.

А на перекрестке сидят люди, как раз на конце лучей. Сколько сидит – не могу сосчитать, но только уж не двое, а может быть, трое или четверо, может быть, больше, однако не много. И лица у меня уж в тумане, солнце, что ли, мешает разглядеть как следует... Но вы тут, с ними, это я отлично знаю. Девочки той нет, а впрочем, кто ее знает, может, и есть, ясно-то, говорю, мне не видно. Сидят они на траве, все вместе, а перед ними – костер. На самом солнце костер, огонь высокий, сухие ветки так и трещат, а огня не видно, желтый он весь, прозрачный, точно стеклянный. И дым тихий, высокий и прозрачный, вверх идет, и как на солнце найдет – так начнут в нем свиваться большие янтарные и радужные круги. А людям будто хорошо, тихо, и весело, и говорят они

о простом, а выходит особенно. У костра пастушонок стоит, маленький, с громадным кнутом, увидел, что костер раскладывают – помогает, целую елку сухую приволок.

– Сейчас на мызу погоню, время, – говорит пастушонок и улыбается.

– А отец у тебя есть? – спрашивают его.

– Отец-то есть, да живем-то плохо, надел мал. Да что ж, а то и ничего, – прибавляет вдруг пастушонок неожиданно и опять улыбается.

И все улыбаются ему и кто-то говорит, вы, кажется:

– Ничего, ничего, ты не бойся только. Все будет. А грибы куда собираешь?

– Да вот, в кошелку...

От дыма и солнца глазам больно, от огня дышит теплом, пахнет уж совсем осенне, гарью, и лесной, дремной свежестью.

– Хорошо нам, – говорит кто-то, – хорошо здесь. И всегда будет хорошо везде, где мы будем вместе. И всем будет хорошо, если нам хорошо и мы вместе. Ваше лицо я будто яснее вижу, и такое оно опять у вас светлое, еще светлее, чем у весеннего моря. Точно уж весь секрет, до самого кончика, вы открыли. И не оттого вам хорошо, что огонь горит и солнце светит, а оттого и солнце такое, и огонь, оттого и люди у костра хорошие, что вы каждого, вроде как бы девочку ту, любите, каждый для вас – единственный, как и сам вы для себя единственный, как солнце – одно в углу просеки.

– А поверх каждого я еще что-то люблю, – говорите вы.

И опять кажется вам (и всем, должно быть), что и просека, и острое небо в ней, и прозрачное пламя – все это ваше, вам безраздельно дано, и что это – хорошо. Так просто: ведь каждый человек у костра – человек. И если он может у костра сидеть так, и у него в сердце огонь и солнце, и пастушонок на всех улыбается – отчего же и другой, каждый, которого нет сейчас здесь, не сможет так же сидеть, отчего у него не будет в душе того же солнца и огня? Будет, будет. Кто захочет – у того и будет.

– Так просто, – говорите вы. – Мы теперь знаем, что просто. И другим надо узнать...

Кто-то тихо вам отвечает:

– Мы знаем, а если есть такой, хоть один, который никогда не узнает? Сказать – не поймет, показать – не возьмет... Ему что? Пропадать? За что же? Ведь он не виноват. У него мало, у другого много. Мне жаль того, у кого мало.

А вы взглянули светло и строго (никогда такого лица у вас не видал) и говорите:

– Не жалей никого. Жалость разъедает счастье, разъедает любовь. У кого мало – тех любит тот, кто один смеет любить всех и никого не жалеет. Разве ты хочешь справедливости? Разве мир не оттого так прекрасен, что устроен не по справедливости, а по любви? По справедливости было бы: кто имеет много – у того возьмется и дастся тому, кто имеет мало; и у всех будет одинаково. Но мир по любви и свобо-

де устроен, а потому никто не смеет иметь мало, а если имеет, то возьмется у него все и дастся имеющему много. Если по справедливости – то не всходило бы солнце над ненавидящими солнце, но по любви оно всходит над всеми, чтобы и ненавидящие могли полюбить его. Справедливость ищет закона и права. А разве мы не знаем, что закон и право не нужны людям?

От костра искры полетели вверх, с треском просияли – и пропала каждая в дыму. И опять кто-то робко сказал вам:

– Мне искр, и тех жалко... Но, может быть, ни одна не пропала... Только от нас так кажется. Да, не надо справедливости. Огонь тоже не по справедливости, а по любви.

Так они сидели и говорили (а может быть, думали только вместе, а я мысли, для реальности, в слова одел), и был в них – мир, с небом, с землей, с людьми, с любовью; мир, единственный, который дан каждому единственному и прекрасен, потому что его можно любить, и что от этого мир не только непременно спасется, но уже как бы спасен. Все уже есть, все, что наверно будет. Солнышко ниже и положе тянуло звонкие лучи, огонь то ник, то, все еще бледный, как стекло, прыгал вверх, обливая жидко, властно и едко сухие сучья; дышало березовой свежестью, цветочными травами и счастьем. Главное – счастьем... Может быть, и не было еще его тут, самого-то окончательного, вошедшего в мир, сделавшегося миром, – ведь так еще мало было людей у костра, и так еще длинны и трудны были их пути, – длинны солнечные

лучи на просеке; но счастьем дышало у костра... Понимаете? Таким верным обещаньем счастья, что оно уж как бы не обещанье было, а само счастье наклонилось с неба к земле и обняло ее. И вы, от этого света тихого, – тихого и верного, вы...

Но тут случилось что-то неожиданное, невозможное. Иван Иванович, который все время сидел не шевелясь, с полузакрытыми глазами, словно убаюканный переливчатым голосом рассказчика, вдруг вскочил. Так внезапно, что загрохотало опрокинутое кресло. И, схватив со стола тяжелый чугунный подсвечник, с силой пустил его в лицо собеседника. Хотя подсвечник полетел прямо, а жертва не уклонилась – трагического почему-то не произошло; только чугун загремел в дальнем углу, ударившись об пол. Иван Иванович ничего не видел. Он даже не кричал, а вопил, орал, вряд ли понимая сам свои беспорядочные слова.

– Вон сейчас же! Вон, дьявол, собака, пес! А, не попало? Берегись: я тебе лампой морду раскрою, дьявол сладкопевец, соблазнитель, чертова порода. Я тебе...

Иван Иванович, в неистовстве, действительно схватил лампу. Но черт был уже около него; нежный, юркий, весь внезапно заискрившийся, он держал и мял руки Ивана Ивановича.

– Голубчик вы мой! Сладкий вы мой! Утешение вы мое. Да ведь нарочно же я... Для вас же я...

Иван Иванович не слушал, и вырывался, и все кричал

свое:

– Бесчестить меня хочешь? А? Эти рассказы еще кому рассказывал, а? Когда от меня кто такую мерзость идиотскую, пошлую, подлую слышал, как ты про меня наплел? Когда? Клеветник подлый! Поэзию распустил, сны какие-то мечтательные, девчонки, костры, любви, ромашки! Да я бы себя собственными руками задушил, если б способен был хоть на единое мгновение всю эту подлость бесчеловечную в себе вообразить! Да я...

– Родненький, успокойтесь... – молил черт и опять вдруг так весело и ярко заискрился, что Иван Иванович прикрыл глаза. Но слушать он все-таки ничего не хотел.

– Вон, говорю! Чтоб духу твоего не было! Убаюкал, дурак! Я сначала слушал-слушал – а он вон что! Сейчас же убирайся! Я уйду, все равно. Показал бы я тебе, дьявол, как честные люди с буржуями у костров сидят, по заграницам шляются, да о любвях мечтают! Солнышко, скажите, пожалуйста! Идиллия! О солнце людям говорить! Черта им в солнце, им жрать нечего, они в крепостях да тюрьмах сидят, а дома у рабочего сырость, да холод... А им тут про заграницы да про любовь! И слушать-то это подло было, подло, подло!

– Ольга Ивановна приехала, – сказала кухарка, приотворив дверь.

Иван Иванович, еще весь дрожа от негодования, обернулся.

– Скажите, сейчас, сейчас, сейчас! Иду!

Он стал метаться, отыскивая шапку. Черт продолжал ловить его руки.

– Ох, утешитель вы мой! Ну, бросьте же сердиться на меня. Будьте ко мне справедливы. Поверьте, поймите, ведь нарочно я! Ведь вы усталый были, в сомнениях, а чем же дух-то поднять, как не картиночкой этакой отталкивающей? Ведь вот небось, сомнений-то у вас сейчас нет? Как не бывало? Вранье это мое, никогда я вас таким во сне не видал! Разве я вас не знаю? Навру, думаю, про этакое-такое, через отталкиванье-то правда в сердечке благородном и воссияет. Нарочно вам все такое безнравственное подпустил, – самому было противно, честное слово. Не верите? А напрасно, мы честные-пречестные, нам нравственность дороже глаза, нам нельзя иначе, уж очень мы человеческий род жалеем. Ну, пострадал я, выдумывая вам пакости, а уж зато утешен-то как! Вон вы как загорелись. Теперь не устанете. Теперь полетите, как на крылышках...

Иван Иванович уже слушал, не вслушиваясь, рассеянно. Вспышка его почти прошла, ну, наврал черт – тем лучше. Черт его больше не интересовал. Он торопился и только хотел теперь по дороге припомнить речь, которая ему еще вчера приходила на ум и которую он думал сказать, если пойдет вечером «туда». Теперь никакого «если» больше не существовало, надо было только припомнить речь. Он чувствовал, что она будет огненная.

– Да... да... Отлично. Я верю. Не плетите мне вздора впе-

ред. Чего там «зажегся». Это я нарочно про сомнения. Какие могли быть сомнения? Подлецом отвлеченным я никогда не был. Если я, в минуту чисто физической усталости, поддался вашим приставам и слушал вас – то это еще ничего не доказывает... Вот с вашей стороны, плести какую-то чепуху декадентскую и притом immoralную – действительно...

– Ну, простите, простите... – кланялся черт, бегая по комнате за Иваном Ивановичем, который, найдя шапку, поспешно собирал и совал по карманам какие-то бумажки.

– Простите, погорячились, и довольно. Неужели я не знал, что вас эти миндали небесные с кострами и морями никогда не соблазнят? Что никакой самый малюсенький, самый утанный уголок души у вас этим всем и не был заражен? Не дурак же я, чтобы вас у костра мечтателем видеть! Есть такие, ей-Богу, есть, экономику даже хотят противоестественным путем посредством костров да любовью устраивать... Не верите? Честью клянусь! Принадлежат идейно к фракции буржуазных индивидуалистов. Тоже своя «партия» – небесно-миндальная. К счастью – совершенно безвредная. Уж, конечно, не такую «партию» подразумевал Солон, когда сказал: «Бесчестным считается тот, кто остается вне партий».

– Да, да... Солон... – перебил Иван Иванович, который вдруг вспомнил, что именно Солон-то он и хотел упомянуть в своей речи. – Вне партий... не примыкает к партии... во времена общественной борьбы. Да, да... Всякое проявление индивидуальной, личной жизни – в такое время бесчестно...

А борьба должна быть непрерывной... Да, да... Только окончательная социализация... Солидаризация... впрочем – это относится к области идеологии. Как один из минимумов я хотел выставить... Но посмотрим, посмотрим. Я иду. Прощайте.

– Я тоже иду, тоже иду, – заторопился черт. – Я ведь тоже туда... Куда вы. Я ведь там теперь постоянно бываю. Вы услышите, я и говорю часто. Вы свое скажете (чудесно скажете сегодня, уже я знаю) – а после я буду говорить. Вы сейчас и узнаете меня. Я ваше положение непременно поддержу... Я...

Иван Иванович пошел к двери, черт за ним, не переставая пожиматься и болтать.

– Я вчера так кричал, что охрип, честное слово! Люблю я эти дебаты. Иногда необходимо спокойствие и властность – иногда огонь и жар. Смотря по требованию реальности. Реализм – это все, дорогой мой; тут мы с вами не разойдемся.

– Опять вы заврались, – пренебрежительно сказал Иван Иванович. – Не верю я, чтоб вы туда ходили, куда я теперь еду. Ведь вы больше о tete a tete'ах печетесь...

– Нет, нет, теперь я партийки, партийки... Вселенскую бы такую партийку... Чтоб выдержала вселенскость... Понимаете? Чтоб уж для всех... Огулом уж тогда, всех сразу к торжеству правды подвинуть. Да здравствует борьба за правду и право! А в борьбе уже не до мечтаний... Не до любвей...

– Да, да... – рассеянно и весело сказал Иван Иванович,

надевая галоши. – Не до любвей. Где Ольга Ивановна? На извозчике дожидается? Хорошо, хорошо, иду. И черт вас знает, когда вы правду говорите, когда врете. Иной раз и дельное сморозите. Ну, да мне наплевать. Я свое и без ваг знаю.

Иван Иванович через ступеньку бежал вниз по холодной лестнице. Черт, в худеньком пальтишке и шапке гречником, семенил за ним и все еще болтал.

– Это верно, смешиваю я, смешиваю, для правды же, однако, смешиваю, дорогой мой... Мыслящему человеку различить нетрудно, что к чему. Вот вы, в сущности, всегда знаете. Сейчас поняли, что, когда правда общественной борьбы вступает в свои права, не до любвей. Пролетаризация – так пролетаризация, а не люмпенпролетаризация, и не до индивидуализации там, где назревает последняя социализация и солидаризация! Где насилию противопоставляется сила – там не до любви! Не до любви!

– Не до любви! – повторил Иван Иванович с рассеянным хохотком, и, выходя на двор и за ворота, даже запел про себя, как-то невольно, вдруг вспомнив старую песню:

Нет, нет, любовь не даст свободы,

И нет спасения в любви.

Ты, ненависть, суди народы.

Ты, ненависть, оковы разорви.

Черт подхватил:

Мы взяли в руки меч:
Пока они не сгнили...

Но у черта оказался неприятный фальцет, к тому же они вышли на улицу и петь больше было нельзя. Иван Иванович ринулся к извозчику, на котором сидела Ольга Ивановна.

– Так до свиданья, до скорого свиданья, – весело и любезно кричал черт, махая шляпой. – Я тут неподалечку на одну минуточку заверну – и сейчас же вслед за вами. До свиданья, до свиданья!

Колеса загрохотали, и черт остался один у фонаря. Задумался как будто. Два оборванца вынырнули из темноты, подошли к черту, хотели, кажется, заговорить. Но, взглянув ему в лицо – вдруг оба плюнули и, заворчав, как испуганные псы, шарахнулись назад, во мрак. Черт не обратил на них ни малейшего внимания: это, вероятно, были люди не по его специальности.